

БОРИС КУРКИН

## СОБАЧЬЯ ЛИРА “ПРОЛЕТАРСКОГО ПОЭТА”

*Однажды товарищ Сталин взял за пюгову поэта Маяковского и задушевно, как один он только и мог, сказал ему: — Товарищ Маяковский, вы безусловно лучший и талантливейший советский поэт. Вы писали о Грузии, об украинской ночи. Что мешало вам написать что-нибудь хорошее и о России? В ответ Маяковский пробормотал что-то невнятное, а придя домой, умер.*

(Апокрифическое)

В самом центре Москвы, на площади, носившей когда-то название Триумфальной, стоит его каменный истукан. Вернее, не его, а того образа, что сформировала советская пропаганда. Имя сему идолу — Маяковский. Новой власти с самого начала не были нужны Триумфальные победы России, а вот идола требовались в изрядном количестве.

Он был, бесспорно, демонической личностью — достаточно посмотреть фильм 1918 года “Барышня и хулиган” с его участием. Демонизм прочитывается и на его фотопортретах, сделанных крупным планом. Магическая персона. Он умел подчинять себе людей, и те потом недоумевали, как такое могло с ними произойти, что подействовало на них, ведь они вовсе не собирались уступать ему? Об этом писал в своих дневниках редактор “Нового мира” В. Полонский.

Он не лез за словом в карман.

Он мог быть грубым, развязным, хамоватым. И даже просто хамом — не в библейском, а в сугубо бытовом смысле.

Дикарём. И умело изображал из себя такового.

Он чётко (и вполне в духе “конструктивизма”) продумывал свои перформансы и после того, как выкинул на помойку жёлтую блузу. В чём выходить на сцену? Как себя вести? Поносить ли всемирные авторитеты? Всё это не было экспромтом, а тщательно продумывалось заранее. Даром что ли он хотел знать, как вёл себя в сходных случаях У. Уитмен!

Он был одинок. Гордыня, неутолимая жажда земного поклонения обрекают человека на одиночество, отнимая у него шаг за шагом всё и оставляя в итоге ни с чем. Но стоит ли много говорить об этом, когда уже написан “Доктор Фаустус”?

За прошедшие годы не было недостатка ни в восторженных поклонниках, ни в хулителях Маяковского. Находились в изрядном количестве и те, кто принимал поэта в одном и отвергал в другом. И те, и другие, и третьи исходили при оценке его творчества из самых разных и порой прямо противоположных критериев — “классового подхода”, “личностного” (“биографического”), “художественной выразительности” и т. д. и т. п. Все они были субъективными, подверженными времени, его условиям и условностям. Попробуем же взглянуть на творчество Маяковского через оптику вечных ценностей, вечных евангельских установлений — объективно существующих и не подверженных переменчивой конъюнктуре человеческого своеволия.

Важно заранее определиться, как следует понимать творчество поэта, какие критерии брать за основу. Разумеется, всяк волен уподобиться режиссёру с его сакраментальным: “Я так вижу!” — и в большей степени выражать самого себя, нежели автора. Однако в таком случае мы будем иметь дело исключительно с субъективной интерпретацией, а не поиском и обнаружением истины.

И ещё одно замечание: важно не то, что хотел сказать и выразить автор, а то, что он на деле сказал. Слово есть дело. Да и сама формулировка “автор хотел сказать” звучит нелепо. Кто же знает, что творилось в момент написания в голове автора? Часто он и сам не отдаёт себе отчёта в том, что пишет и что выходит из-под его пера, а осознаёт это, лишь завершив свой труд. Да и это мы не можем утверждать с полной уверенностью. Разумеется, речь не идёт о таких вещах, как “Стихи о советском паспорте” или “Нигде кроме, как в Моссельпроме”. Здесь смысл сказанного однозначен.

Прочтём же внимательно его тексты.

Литературный критик Троцкий, променявший, увы, перо на штык, лиру на маузер, а газету “Киевская мысль” на “Правду”, отмечал в статье “Самобытие Маяковского”, размещённой в очередном Бюллетене оппозиции: “У Маяковского были проблески гениальности. Но это был не гармоничский талант”<sup>1</sup>. И тут же оговаривался: “Откуда было взяться гармонии в такое время?”

“Великий поэтический трибун революции, — говорил о нём тотчас же после его гибели Бухарин. — Он **чертовски хорошо** (выделено мной. — Б. К.) подходил к революции”<sup>2</sup>.

“Ценнейшая и оригинальнейшая фигура пролетарской поэзии”, — скажет в другое время и в другом месте всё тот же Бухарин.

По сравнению с бухаринским “великий” сталинское “талантливейший” звучит скромнее. И ещё от Бухарина, очень точное: “У него не было старой культуры. Но у него была величайшая активная дерзость. <...> Какого злого, сильного, “кусачего” врага нашло себе в Маяковском наше мешанство, чиновничество, перерожденческое подхалимство! Каким кубарем летели под ударами Маяковского канарейки, горшки с геранью, двухспальные кровати и прочие атрибуты мизерабельного счастья!”

Какие великолепные громы и молнии обрушивал Маяковский на духовную заскорузлость, идеологический склероз, тину и слякоть ленивой мысли, “мыслительное” лежанье на печи, оказёнивание быта и нравов, бюрократизм больших и малых чинуш и сутяг!” — вопиял над гробом “поэта-главаря” любимец партии<sup>3</sup>.

Через три года Бухарин скажет, что Маяковский “устарел”. И это вызвало энергичный протест тех, кто уже воспринял прежние оценки Бухарина как руководство к действию и активно перестроился. Одним словом, на советском литературном фронте царил определённая вольница, и железные каноны ещё не оформились.

Троцкий был скупее в своих оценках: “Большой талант”, — отмечая, что тот “умеет поворачивать много раз виденные вещи под таким углом, что они кажутся новыми.

Он владеет словом и словарём, как смелый мастер, работающий по собственным законам, — независимо от того, нравится ли нам его мастерство или нет. Многие его образы, обороты, выражения вошли в литературу и останутся в ней если не навсегда, то надолго. У него своё построение, свой образ, свой ритм, своя рифма.

Художественный замысел Маяковского почти всегда значителен, иногда грандиозен. Поэт вводит в свой круг и войну, и революцию, и рай, и ад. Маяковский враждебен мистике, ханжеству всех видов, эксплуатации человека человеком, — его симпатия целиком на стороне борющегося пролетариата<sup>4</sup>.

Что верно, то верно: никакой мистики — даже в антирелигиозных и антицерковных агитках — у Маяковского нет. Её он и взаправду не жаловал. Вот что говорил он на диспуте о драматургии наркомпроса А. В. Луначарского в 1920 году: “Маги” — пьеса мистическая и философская. <...> И если расшифровать эту символику, то мы получим типичную мелкобуржуазную, анархистскую философию, которая готова принять весь мир и равно благословить и правую, и левую стороны, и коммунизм, и белогвардейщину, и Ленина, и Врангеля”.

Вернёмся к Троцкому и его оценке творчества Маяковского: “Патетичность достигает у него нередко чрезвычайнейшей напряжённости, но не всегда за этой напряжённостью — сила”<sup>5</sup>.

Встречаются у литературного критика Троцкого (жаль, что он бросил это занятие!) и вполне остроумные замечания. Такое, например: “О своей любви, т. е. о самом интимном, Маяковский говорит так, как если бы дело шло о переселении народов.

Но по этой же причине он не находит другого словаря для революции. Он всегда стреляет на пределе — а, как известно артиллеристу, такая стрельба даёт наименьшее <число> попаданий и тяжелее всего отзывается на орудии”<sup>6</sup>.

С Троцким в данном случае нельзя не согласиться. “Великим, народным поэтом Республики” окрестил Маяковского известный республиканец Д. Бурлюк<sup>7</sup>. “Маяковский дышал лёгкими миллионами. Революционер, материалист, он каждый день пылал злобой этого дня”<sup>8</sup>. Это уже Фридлянд (“М. Кольцов”).

Всё верно: безбожник, “злободневщик”. И далее: “В другое время, может быть, даже одним месяцем позже, любовная лодка не разбилась бы о быт. Нельзя с настоящего полноценного Маяковского спрашивать за самоубийство. Стрелял кто-то другой, случайный, временно завладевший ослабленной психикой поэта-общественника и революционера. Мы, современники, друзья Маяковского, требуем зарегистрировать это показание”<sup>9</sup>.

Звучит весьма двусмысленно.

Самоубийство поэта, как отмечала группа товарищей во главе с чекистом Я. Аграновым, отвечавшим за истребление инакомыслия в российской интеллигенции, было ошибкой “гигантского человека, <...> полного творческой энергии, планов, тем, заданий, с большим подъёмом готовившегося к поездке в совхоз “Гигант””<sup>10</sup>.

Вот уж действительно, издёвка судьбы! Только “судьбы” ли? Судьба — это Рок, которому не в силах противостоять человек, а в случае Маяковского — сознательный выбор.

Относительно того, что Маяковский был перед смертью “полон творческой энергии”, “друг Аграныч” (как звал его Маяковский, “милый Янечка” — по версии Лили Брик) явно лукавил, но лукавство было его естественным и неотъемлемой частью работы.

Внешне чуть более сдержанной оказалась газета “Правда”, поместившая 5 декабря 1935 года статью “Владимир Маяковский”. В ней он назывался уже не “талантливейшим” (как назвал его Сталин в своём письме Ежову)<sup>11</sup>, а просто “талантливым”. Зато далее следовало: “Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление”<sup>12</sup>.

В этом же номере газеты было опубликовано и корявое стихотворение, в котором поминается имя товарища Сталина:

*...о работе стихов  
от Политбюро,  
чтобы делал  
доклады Сталин...*

Заканчивается же оно так:

*...в Союзе  
республик  
пониманье стихов  
выше  
довоенной  
нормы.*

Через три года, когда каждое слово обретёт особый вес и смысл, Политбюро ЦК ВКП(б) в своём Постановлении “Об архиве В. В. Маяковского” от 3 октября 1938 года повысит статус т. Маяковского до “лучшего и талантливейшего”<sup>13</sup>.

У запоздалого “футуриста” Владимира Маяковского, писал Троцкий, пафос соседствует с вульгарностью (“вульгарность против пафоса и для его ограждения”). Изгнанный вождь не мог отказать себе в удовольствии указать на социально-политические причины самоубийства Маяковского. Кажется, он это сделал одним из первых, если не первым, в то время как официальные голоса толковали о чисто личных мотивах суицида.

Чего стоит один этот пассаж! “Официальное извещение о самоубийстве торопится языком судебного протокола, отредактированного в “секретариате”, заявить, что самоубийство Маяковского “не имеет ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта”. Это значит сказать, что добровольная смерть Маяковского никак не была связана с его жизнью или что его жизнь не имела ничего общего с его революционно-поэтическим творчеством, словом, превратить его смерть в приключение милицейского порядка. И неверно, и ненужно, и... неумно! “Лодка разбилась о быт”, – говорит Маяковский в предсмертных стихах об интимной своей жизни.

Это и значит, что “общественная и литературная деятельность” перестала достаточно поднимать его над бытом, чтобы спасти от невыносимых личных толчков. Как же так: “не имеет ничего общего”?

Что ж, Троцкий со своим вульгарным социологизмом – порождением экономического материализма – выглядел едва ли остроумнее ненавистных ему советских официальных и официозных кругов.

Но сквозили в Бюллетене и вполне здравые мысли-наблюдения. “Нынешняя официальная идеология “пролетарской литературы”, – писал Троцкий, – борьба за “пролетарскую культуру” <...> стала попросту системой бюрократического командования искусством и – опустошения его. Классиками мнимо-пролетарской литературы были объявлены неудачники буржуазной литературы, вроде Серафимовича, Gladкова и пр. Юркие ничтожества, вроде Авербаха, были назначены в Белинские... “пролетарской” (!) литературы. Высшее руководство художественным словом оказалось в руках Молотова, который есть живое отрицание всего творческого в человеческой природе”<sup>14</sup>.

И, наконец, политическое резюме: “Маяковский не стал и не мог стать прямым родоначальником “пролетарской литературы” – по той же причине, по которой нельзя построить социализм в одной стране”<sup>15</sup>.

Социализм всё же построили. А в итоге получилось всё то же сакраментальное – “среда заела”.

Кажется, для этой последней фразы всё и было писано. Что ж, “оставим мёртвым погребать мертвецов их”.

Но и то: в своём последнем публичном выступлении – на похоронах своего бывшего подчинённого по части иностранных дел А. Иоффе (за три года до самоубийства Маяковского) – Троцкий сказал: “Такие акты, как самовольный уход из жизни, имеют в себе заразительную силу”<sup>16</sup>. Вот и пойми его.

... Язык не поворачивается назвать Маяковского русским поэтом, хотя говорил, писал и думал он по-русски и других языков, кроме грузинского, не знал. А ещё он понимал мову и даже собирался переводить с неё, но не успел: наложил на себя руки.

Думается, что виной тому рождение и пребывание нашего героя в чужой языковой среде, ведь родился и вырос он в грузинской глубинке, в городке Багдади, переименованном в 1940 году в Маяковски. Он даже называл себя “грузином”. В сущности, это был русский человек, говоривший о себе, что он

*не из кацапов-разинь.*  
Я —  
    *дедом казак,*  
            *другим —*  
                    *сечевик,*  
*а по рождению*  
                    *грузин.*

А ещё он не любил “русопетов”, о чём и говорил в том же ломаном стихе. Одним словом, русским он себя не ощущал. Он ощущал себя бунтарём и хулиганом.

В своей биографии он запишет, что с детства “возненавидел сразу — всё древнее, всё церковное и всё славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм”. Не похоже, что бы он лукавил.

Маяковский не был укоренён в русской культуре. Он был “беспочвенником”. Идейной “почвой” его были химера футуризма и революция, в которой он под конец жизни горько разочаровался. Но виду, однако, старался не подавать.

Читал ли он русскую литературу? Читал ли вообще? Бог весть. Во всяком случае, “Евгения Онегина” он открыл для себя лишь незадолго до смерти.

Понятия “перформанс”, “инсталляция”, “флешмоб” ещё не родились, но акционизм, пусть и не имевший тогда своего имени, уже практиковался. Эпатаж породил спрос у публики, а спрос стал рождать предложение.

А ещё он был дворянин. Так писал он в одном из своих стихотворений и показаниях, данных им в Охранном отделении, куда он залетел по своей неизбыточной глупости и любви к тому, что нынче зовётся “движухой”. Но таких бунтарей-дураков народилось в те поры немало. Увы, увы, увы...

В сущности, это был так и не повзрослевший “ужасный ребёнок”, которого всю жизнь вели за ручку и направляли некие дяди и тётки, главной среди которых стала Лиля Брик — “красная Мессалина” советской литературно-чехкистской богемы. В письмах к ней Маяковский подписывался “твой Щен” и непременно пририсовывал щенка. Она же вертела им, как хотела, и унижала, как могла, — из милости. За это он содержал её и её мужа.

Злоязычный Иван Бунин описал одну из своих встреч с Маяковским на званом обеде: “Собрались на него всё те же — весь “цвет русской интеллигенции”, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошёл к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы её, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет, слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы ещё что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскопил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: “Господа!” Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав ещё одну и столь же бесплодную попытку, развёл руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не ступаться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным рёвом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство вся зала: заражённые Маяковским, все ни с того ни с сего заорали, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясённый до глубины души этим излишеством свинства и желая выразить

свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!”<sup>17</sup>

Он привык эпатировать публику — то была роль, маска, которую он надевал. Так робкие мальчики, не знающие, как вести себя с девочками, дёргают их за косы. Он не был приучен вести себя прилично, но хотел постоянно быть в центре внимания.

Великий русский человек и композитор Г. В. Свиридов сказал о Маяковском так: “Это был по своему типу совершенно законченный фашист, сформировавшийся в России, подобно тому, как в Италии был Маринетти. Сгнивший смолоду, он смердел чем дальше, тем больше, злобе его не было пределов. Он жалил, как скорпион, всех и всё, что было рядом, кроме Власти и Полиции, позволяя себе лишь безобидные для них намёки на бюрократизм, омещанивание и т. д. Наконец, в бешенстве, изнемогая от злобы, он пустил жало в свою собственную голову. На его примере видно, как опасен человек без достаточного своего ума, берущийся за осмысление великого жизненного процесса, который он не в состоянии понять, ибо живёт, “фаршированный” чужими идеями. Это человек, якобы “свободный”, а в самом деле “раб из рабов”, ибо не в состоянии не только осознать, но даже и подумать о своём жалком рабском положении. <...> Человек, продавший за деньги (или честолюбие), лишён любви, ибо одно исключает другое. Сколько вреда нанесли эти люди, и как их несёт на своих плечах современное зло. Оно благословляет и плодит только им подобных”<sup>18</sup>.

С Маринетти Маяковский столкнулся нос к носу в “Бродячей собаке”. Без скандала, как водится, не обошлось и в тот раз. Однако ни тот, ни другой футурист не оставили на сей счёт никаких воспоминаний. Ничего удивительного: кто был на тот момент времени Маринетти и кто — Маяковский? Став убеждённым фашистом, и уже в пожилом возрасте итальянец добровольно пошёл на фронт (он воевал под Сталинградом) и уже одним тем оказал, что его слово не расходится с делом. Маяковский же своим примером показал обратное. Биографы не любят вспоминать, что в 1914 году он взялся за сочинение агиток. Когда же получил повестку явиться на призывной пункт, с ним приключилась истерика. Благо, нашлись заступники, и Маяковский остался в тылу, получив даже офицерское звание. Так он стал “золотопогонником”, которых люто ненавидел в своих стихах.

\* \* \*

Бытует версия, что его застрелил ответработник ГПУ Я. Агранов — один из основателей ГУЛага. История тёмная, мутная, со смущающими деталями. По этому поводу скажем, что версия суицида выглядит более органичной, более логичной и более естественной во всей своей противоестественности. Однажды Маяковский уже пытался наложить на себя руки, но неудачно: “пушка” дала осечку. Так что суицидальная склонность в нём присутствовала, а это, как утверждают медики, дурной признак.

Сам же Агранов сочинил на смерть поэта — нет, не облитое горечью и злостью стихотворение, — а газетную заметку (в соавторстве с Н. Асеевым и др.), в которой первым назвал поэму о Ленине “гениальной”<sup>19</sup>.

Самострел Маяковского озадачил всех. Неофициально признанный первым виршеплётот Страны Советов Д. Бедный недоумевал: “И это жуткое своей незначительностью предсмертное письмо. Разве это мотивировка? Чего ему недоставало, этому талантливейшему и признаннейшему поэту?”

Иначе, как внезапным, временным провалом сознания, потерей внутренней ориентировки, болезненной обострённостью личных переживаний, острым психозом не могу всё это объяснить”.

Действительно:

*Сегодня надо кастетом  
Кроитья миру в черепе.*

И на тебе!

Когда говорят и пишут о Маяковском, то непременно поминают слова Сталина, сказанные о поэте: “лучший и талантливейший”. Однако многие ли знают, что впервые эти слова были сказаны в служебном письме вождя железному карлику — секретарю ЦК ВКП (б) Н. И. Ежову. А поводом для него стало письмо Л. Брик, буквально требовавшей от вождя увековечить должным образом память своего “Щена”. Проще говоря, обеспечить себе за счёт покойника безбедное существование.

Шёл 1935 год, и вождь счёл за благо не дразнить богему с её тройным дном, а уступить ей. В его письме к Ежову чувствуется тщательно упрятанная ирония. Он предпочитал делать неугодные ему или сомнительные для его репутации дела чужими руками.

Да, вождь аплодировал Маяковскому, когда тот читал в Большом театре свою поэму “Владимир Ильич Ленин”. Думается, аплодировал вполне искренно, ибо образ, созданный Маяковским, точно укладывался в схему “Ленин”, которую Сталин выстраивал для того, чтобы превратить её в дубину, которой он позже примется гвоздить соратников по борьбе — пресловутую “ленинскую гвардию”.

Образ Ильича, созданный Маяковским, пришёлся товарищу Сталину в пору. Неизвестно, вспоминал ли вождь стихи Маяковского, когда вставал на могилу Ленина, чтобы с её высоты принимать поклонение масс. Увы, открыто восхититься этим символическим “попранием змия” было невозможно. Публика могла оценить это, лишь помалкивая.

\* \* \*

Учиться Маяковский не любил и едва не стал отпетым двоечником. Как писал он в своей биографии, “перешёл в четвёртый (класс гимназии. — Б. К.) только потому, что мне расшибли голову камнем (подрался), — на переэкзаменовках пожалели”. Оправдывался он тем, что настал 1905 год и стало не до учёбы.

... Всё началось с литературного кафе под названием “Бродячая собака”, просуществовавшего с 1911 по 1915 год, куда петроградская полиция не обнаружилась в подвале запрещённое в условиях “сухого закона” спиртное, после чего градоначальник (т. е. начальник полиции) велел прикрыть заведение.

Отличительной чертой кафе был эпатаж —

*Желающие получают от меня в морду!*

Публике это нравилось, публика приходила в восторг.

Как писал главный редактор “Нового мира” В. П. Полонский, плотно работавший с этим автором и знавший всю его подноготную, “Горький объяснял его “наглу” манеру держаться его внутренней “застенчивостью”. То же самое говорил А. Н. Тихонов. Меня это не убеждало. Застенчивости я никогда в нём не замечал. Страшная развязность, безбоязненность и необычайное желание быть в центре внимания. Голод его честолюбия был неутолим. Им двигало чаще всего именно честолюбие и славолубие. Он был счастлив, когда гремели аплодисменты. Он мрачнел, делался чёрным, когда было обратное. Он не терпел конкурентов. Он требовал подчинения.

Самолубие его было огромно. Обиды он помнил и мстил”<sup>20</sup>.

“Он наслаждался злобой, какую возбуждал” (тоже Полонский).

Это то, что зовётся у православных гордыней.

Уже в ранней юности у него возникло немало претензий и к Богу. По наблюдению К. Чуковского, “Маяковский не может пройти мимо Бога, чтобы не кинуться на него с сапожным ножом”<sup>21</sup>.

*Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою  
Отсюда до Аляски.*

Или вот ещё (обращаясь к Богу):

— А в Рае опять поселим Евочек: // прикажи, — сегодня ночью ж // со всех бульваров красивейших девочек // я наташу тебе. Хочешь?

Или это:

*Я, может быть, самый красивый из всех твоих сыновей,*

говорит он перед образом Божией Матери.

Он изображал себя тринадцатым апостолом (читай: Иудой), замазывал в своих виршах икону на царских воротах и малевал на ней бандитскую рожу Стеньки Разина.

*Нам до Бога дело какое?  
Сами со святыми себя упокоим.*

Он ещё много наговорил из того, что может стерпеть лишь бумага и что никак не спишешь на юношескую глупость или игру гормонов в организме.

Приятель Маяковского Чуковский относился к нему за это не слишком строго — “слегка за шалости бранил” и предлагал читающей публике “попробовать полюбить” юного кощунника и богохульника, хотя и называл его “вдохновенным громилой”. Воистину, “кто-то другой” “завладел ослабленной психикой поэта”. Нет, это не просто идиот (“Идиот Полифемович”, как прозывали его в гимназии). Тут всё гораздо глубже и страшнее.

Большевистская власть не любила футуризм и зажимала нос, когда ей чудился модернистский запашок. Уже в 1921-1922 годах она продемонстрировала, что дальнейшие выкрутасы нежелательны и следует заняться делом пропаганды. Маяковский так и не стал для большевиков своим. “Революционный индивидуализм Маяковского восторженно влился в пролетарскую революцию, но не слился с ней”, — скажет Троцкий<sup>22</sup>. “С нами, а не наш”, — если пользоваться известной ленинской формулой.

Он был “попутчиком”, за которым тянулся шлейф буржуазной поэтики и эстетики, и власть зафиксировала у Маяковского тяжёлый анамнез. Даже благоволивший к нему пошлейший незадавшийся литератор А. В. Луначарский — и тот не считал его подлинно “пролетарским” поэтом. За образец “подлинно нашего” им выдавался человек с говорящей фамилией А. Безыменский — человек, по словам Троцкого, “духовно родившийся в коммунизме” (в отличие от Маяковского)<sup>23</sup>. И пусть в глазах нашего современника то был очередной Иван Бездомный или Рюхин. Что с того?

“Воспитанный на Некрасове” Ленин говорил, что не понимает таких поэтов, как Маяковский. 6 мая 1921 года вождь посылает Луначарскому следующую записку: “Как не стыдно голосовать за издание “150 000 000” Маяковского в 5000 экз.? Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. Помоему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков. А Луначарского сечь за футуризм. Ленин”<sup>24</sup>.

Футуризмом всерьёз заинтересовался незадавшийся литературный критик Троцкий, написавший в 1923 году после консультации с самим Маяковским пространное и не лишённое здравого смысла эссе “Футуризм”. В нём были, между прочим, и такие строки: “Русский футуризм родился в обществе, которое <...> готовилось к демократическому февралю”<sup>25</sup>. Бедою же футуризма становилось, по Троцкому, то, что “он не чувствует себя в революционной традиции. Мы вошли в революцию, а он обрушился в неё”<sup>26</sup>.

Как видим, и здесь не обошлось без марксистской прокладки. И угодить было невозможно не только товарищу Ленину, а позже товарищу Сталину, но и товарищу Троцкому: “Футуристы стали коммунистами. Тем самым они вступили на почву более глубоких вопросов и отношений, далеко выходящих за пределы старого их мирка и органически не проработанных их психикой.

Оттого футуристы, в том числе и Маяковский, художественно слабее всего в тех своих произведениях, где они законченнее всего как коммунисты”<sup>27</sup>.

Лёд тронулся лишь после публичного прочтения в Большом театре поэмы Маяковского о Ленине. Всеми забытый ныне критик утверждал, что она является “черновой работой поэта над изучением марксизма: в ней он стремится уйти от неуместной уже истеричности, от фетишизма вещей, от пережитков божемского индивидуализма, подойти к быту рабочих масс”. В конце заметки, опубликованной в журнале “Октябрь”, автор её А. Осенев (С. А. Родов) предрекал, что “отрывки из “Похорон Ильича” несомненно, войдут в литературу”<sup>28</sup>.



Эту оду Ильичу можно считать для Маяковского переломной: из футуриста он окончательно перекаленился в коммуниста и, “наступив на горло собственной песне”, пустился в сочинение рекламных слоганов, типа “нигде кроме, как в Моссельпроме”. Сам же он предпочитал мануфактуру заграничного пошива, хотя и писал, что “по совести”, кроме свежесмытой сорочки, ему ничего не надо.

### Реклама от Маяковского

Из восьми последних лет жизни более двух лет он провёл за границей, куда его охотно выпускала власть. Отпустить человека за границу означало для советской власти высшую форму доверия. И в этом смысле он был уникальный экземпляр на советской литературной фабрике.

Впрочем, за пределами СССР он не только отдыхал, но и работал, выполнял функцию агитатора-пропагандиста советского образа жизни. Он не был алкоголиком, был идейно выдержанным, политически грамотным. Однажды он даже публично грозился сорвать спектакль “Дни Турбинных”, намереваясь ради такого дела комсомольцев-хулиганов – советских предшественников китайских хунвэйбинов. Угрозы, впрочем, так и остались угрозами.

Он умел держать себя в руках, а потому лучшей кандидатурой для выполнения функций разъездного поэтического главаря в распоряжении советской власти, пожалуй, и не было. Правда, агитировал он не бомонд, а пролетариат. Но какой бомонд стал бы выслушивать за свои деньги его большевистские агитки?

Информация относительно выступлений Маяковского перед европролетариями крайне скупа. И это понятно: с трудом представляется, что французские рабочие выучивали язык, на котором говорил Ленин, с тем чтобы адекватно, а не через толмача, воспринимать стихи Маяковского в оригинале (французский язык Маяковский так и не выучил). Скорее всего, дело ограничивалось лекциями на всякие-разные темы, главным образом, об СССР. А на такие цели партия народных денег не жалела.

Из письма Маяковского к Л. Ю. Брик от 20 октября 1928 года:

“Дорогой, милый, изумительный и родной Кис.

К сожалению, я в Париже, который мне надоел до бесчувствия, тошноты и отвращения. Сегодня еду на пару дней в Ниццу (навернулись знакомицы) и выберу, где отдохнуть. Или обоснуюсь на 4 недели в Ницце, или вернусь в Германию.

Без отдыха работать не могу совершенно!

Разумеется, ни дня больше двух месяцев я в этих дохлах для меня местах не останусь”<sup>29</sup>.

Думается, не следует обманываться пламенной и всепожирающей любовью Маяковского к Революции, Ленину, Дзержинскому, ГПУ, Моссельпрому. Всё чаще в его виршах советской поры звучит плохо скрываема издёвка.

А ещё он открывал для себя Америку.

Ну, как тут не пожалеть человека, привозящего автомобили последних марок!

Он чётко улавливал импульсы, источаемые властью, и всегда оказывался в первых рядах “строителей коммунизма”.

31 октября 1926 года, в самый разгар кампании “украинизации”, в газете “Известия ВЦИК” было опубликовано стихотворение В. Маяковского “Долг Украине”, переведённое, разумеется, на мову. Нынче этот стих считают своим долгом цитировать в бывшей “радянській неньке” представители всех политических течений и умозрений. Вот несколько строк из него:

*...товарищ москаль,  
на Украину  
шуток не скаль.  
Разучите  
эту мову  
на знаменах —  
лексиконах алых, —  
эта мова  
величава и проста.*



Напомним, что дворянином (шляхтичем) был и сам Маяковский. Особую пикантность имеет то обстоятельство, что редактор вычеркнул из кощунственного стихотворения следующие строки:

*Спросите, руку твою протяни:  
казнить или нет человечьи дни.  
Не встать мне на повороте.  
Живые — так можно в зверинец их,  
промежду гиеной и волком.  
И как ни крошечен толк от живых —  
от мёртвого меньше толку.  
Мы повернули истории бег.  
Старье навсегда провожайте.  
Коммунист и человек  
не может быть кровожаден.*

Отметим также, что в черновике кощунственной “лесенки” есть ещё и такие строки (в первом варианте):

*Я вскину две моих пятерни,  
Что я голосую против...*

Во втором:

*Я сразу вскину две пятерни:  
Я голосую против...*

“Коммунист и человек”, по Маяковскому, “не может быть кровожаден”. А вот бросить людей, включая детей, “в клетку между гиеной и волком” человек и Маяковский — может.

Ну, разве кто заставлял его писать ТАКОЕ?

И невольно возникает вопрос: “Людоед с ножом и вилок — это прогресс?”

Впрочем, ещё задолго до этого юный бузотёр писал: “Я люблю смотреть, как умирают дети”.

Надо сказать, что советское литературоведение обходило — скорее всего, из деликатности — эту тему стихосложенца стороной. Едва ли не единственным, кто всерьёз вознамерился поразмышлять над сказанным, стал Ю. А. Карабчиевский, печатавшийся исключительно в зарубежных изданиях. Впрочем, вдаваться в пространные размышления на сей счёт он благоразумно не стал. Тем не менее, — а куда деваться-то! — литературознавец отметил, что от кощунственности этих строк “горбатится бумага, со строчки, которую никакой человек на земле не мог бы написать ни при каких условиях, ни юродствуя, ни шутя, ни играя, — разве только это была бы игра с дьяволом”<sup>30</sup>.

Тем не менее, “смягчающие вину” автора обстоятельства были критиком приисканы. Он предлагал перечитать жуткие строки, чтобы осмыслить их “через боль и жалобу”. Не правда ли, задавался вопросом Карабчиевский, в этом свете строки выглядят “немного иначе?”<sup>31</sup> В результате выходило, как гласит модный слоган, что “здесь не всё так однозначно”.

В отличие от Карабчиевского, Г. В. Свиридов был категоричен: “Человек, который написал: “Я люблю смотреть, как умирают дети”, — не может быть назван человеком. Это выродок”<sup>32</sup>.

В позднесоветское время стал усиленно насаждаться культ Маяковского, выражением чего стал каменный идол работы А. Кибальникова. По рассказам скульптора, он пообещал своим конкурентам, что непременно выиграет конкурс, на котором его проект поначалу зарезали. И он выиграл его. Но поздравлять художника с этой победой было бы опрометчиво.

Причины развернувшейся в 1929 году вроде бы ни с того ни с сего травли Маяковского загадочны. Власть не третировала его: внешне партия была вполне равнодушна к исправному исполнителю её воли. Едва ли “борьба с бюрократизмом”, присущая поделкам Маяковского поздней поры, могла стать причиной начальственного неудовольствия. А тем более, гнева. Хотя да:

съездить в очередной раз в Париж, по которому уже гуляли члены его почти “шведской семьи” — Лиля и Ося, — ему не позволили, что стало для Маяковского неожиданным и тяжёлым ударом. Формально язвил Маяковский не государство, а “гражданское общество” в лице “политико-литературной ответственности” — “тамо гади их же несть числа”.

1929 год недаром называют “годом великого перелома” — ломалось, трещало и скрежетало буквально всё: перспектива катастрофы для режима и страны в целом становилась более чем реальной, пути выхода из сложившейся ситуации виделись всем по-разному, а посему оппозиции плодились одна за другой.

Маяковский умел нравиться начальникам — в том числе и тем, что были вхожи в высочайшие кабинеты. Это хорошо в мирные времена, но когда хватаются за ножи, друг всем становится врагом всех.

Думается всё же, что Маяковский просто всем надоел, и “инвалюту” на него решено было больше не тратить. Это было воспринято им как знак высочайшей немилости, что вполне понятно: человека лишили возможности иметь отдушину и обеспечивать себе комфорт. Для фигуры, привыкшей быть “выездной”, это было равносильно катастрофе, ибо больно било не просто по самолюбию, но и по социально-политическому статусу, по “положению в свете”.

К тому же он явно исписался, а реклама Моссельпрома в условиях вновь возникшего дефицита всего и вся становилась никому не нужной. Что оставалось Маяковскому? Воспевать трудовые будни. Но для умного циника, каким он был, это давно опостылело и утомляло. Навсегда ушло то время, когда можно было плевать в лицо публике, получая в ответ её бурные аплодисменты. Власть Советов — это вам не проклятый царизм!

Смерть поэта стала шоком не только для начальников РАПП. Их наспех сочинённое письмо в Политбюро с самооправданием типа “это не мы!” свидетельствовало о том, что эти “пролетарские вожачки” в литературе, действовавшие по привычной программе, и впрямь были ни при чём или же были разграничены втёмную<sup>33</sup>.

Но кого они только не третировали? Булгакова в том же 1929 году они чуть не свели в могилу! Доставалось от РАПП и вполне своим: есть друг друга поедом давно уже стало для “пролетарских писателей и поэтов” образом жизни. Это было способ их существования, смысл их жизни. Сам же литературный процесс, как и куда более важные процессы управления страной, на тот момент ещё не был под полным контролем, если об этом стоило говорить вообще. Так что невольно возникающие вопросы “кто?” и “за что?” в их историко-политическом плане, скорее всего, совсем останутся без ответа. Через два года начальники РАПП крупно подставятся, воздав хвалу очередной оппозиции. И тогда им припомнят их прежние грехи, а саму контору разгонят. Чуковский в своём дневнике назовёт литературно-политическую ситуацию 1932 года “либерализмом”<sup>34</sup>. Кончится же новая “литературная вольница” тотчас же после убийства Кирова.

В Страстной понедельник 14 апреля 1930 года — в день смерти Маяковского — “Литературная газета” поместила объявление, в котором говорилось, что 19 апреля, на которое приходилась Великая суббота, то есть в канун православной Пасхи, “в Красном уголке РЖСК”<sup>35</sup> им. Л. Красина (проезд Художественного театра, д. 2) состоится антипасхальный вечер. Выступят И. Батрак, М. Голодный, А. Иркутов, В. Маяковский, М. Светлов, Д. Хайт”<sup>36</sup>.

Что собирался читать в тот вечер Маяковский?

Не исключено, что вот этот богоборческий и богохульный вирш, состряпанный наспех ещё в 1923 году и тоже накануне православной Пасхи — в Страстную (Великую) субботу. Назывался он “Наше воскресенье”. В нём были и такие строки:

*Вырывай у бога вожжи!  
Что морочить мир чудесами!* (подч. мной. — Б. К.)

*Человечьи законы  
— не божьи! —  
на земле  
установим сами*<sup>37</sup>.

Ну да, “сам человек и правит”, – как говорил известный булгаковский персонаж.

Конец советского футуриста – и как человека, и как стихотворца – был одновременно и банален, и страшен, и закономерен.

Похороны Маяковского, ставшие своего рода “перформансом”, как это именуют в наше время, были исполнены мрачной – мрачнее некуда! – символики, злой иронии и даже издёвки. Гроб бывшего русского дворянина и офицера (сей факт биографии нераскаянного футуриста звучит поистине издевательски!) везли на обитом железом грузовике, символизировавшем броневик. То была придумка В. Татлина, Д. Штернберга и Дж. Левина. На “броневике” везли того, кто ездил на новейших иномарках и одевался во всё заграничное.

Разумеется, на траурном митинге выступил Луначарский. “Маяковский, – говорил он, – был “куском напряжённой, горящей жизни”, а после того, как он сделал себя “рупором величайшего общественного движения”, стал таким ещё в большей степени. “Прислушайтесь к звуку его песен, – взывал бывший богостроитель, бывший нарком и действительный академик, – вы нигде не найдёте ни малейшей фальши, ни малейшего сомнения, ни малейшего колебания”<sup>38</sup>.

Сказал своё надгробное слово и “пролетарский критик”, а заодно главарь РАПП Л. Авербах – родственник Горького. Цинизм товарища Леопольда удивлять никого не должен.

“С чувством горечи, тяжести и неимоверной боли, – говорил он, – мы, пролетарские писатели Советского Союза, прощаемся с Маяковским. Ещё недавно, когда мы принимали его в свою организацию, мы с радостью и гордостью видели, как Маяковский всё больше и больше героически вырастает в подлинно-пролетарского поэта во всём великом значении этого слова, которого ещё мало кто заслуживает. Маяковский показал нам пример того, как надо перестраиваться человеку, сознательно, искренно и последовательно ведущему себя по пути внутреннего очищения от прошлого, от влияния своего класса, к подлинной свободе. Маяковский показал пример того, как надо перестраиваться и как трудно перестроиться. В своём последнем письме Маяковский обратился к РАППовцам с призывом не осуждать его. Но мы осуждаем его поступок, – говорит Л. Авербах, – ибо для нас понять Маяковского – ещё не значит его оправдать. Мы осуждаем Маяковского, но преклоняемся перед гигантским творческим путём, который он прошёл”<sup>39</sup>.

Давка на похоронах была страшная. Чтобы разогнать мешавшую процессии толпу, милиции пришлось даже стрелять в воздух.

Останки нераскаянного поэта были преданы революционному огню и пламени Донского крематория. Кое-кто спустился вниз по лестнице, чтобы посмотреть в глазок, как они превращаются в пепел. Воспевал ли кремацию в своих рекламных лесенках Маяковский – неизвестно.

Примечателен был и траурный венок поэту, составленный его единомышленниками. “Железному поэту – железный венок”, – гласила надпись под ним. Четыре металлические пластины создавали подобие циркуля и наугольника. “Натюрморт” из металла обрамлял выполненный в форме пентаграммы моток проволоки толщиной в палец – не то венок, не то венец терновый или и то, и другое одновременно. От него веяло жутью: то был совершенно неприкрытый конструктивистский вариант изображения мasonicкого Бафомета, сидящего с оттопыренными лапами на земном шаре (шестерёнке). Силуэт его просматривается весьма отчётливо. Символ нечисти был изображён старательно и небесталанно. Инсталляция сия была, разумеется, посланием посвящённым.

Это расстарался художник-авангардист А. Лавинский – муж художницы Е. Лавинской, родившей от Маяковского сына. Ничего скандального в том для причастных ко всякого рода мистериям-буфф не было: все они были одной большой “семьёй”.

Свои провожали своего.

**P.S.:** Слово Маяковского и поныне стучится в иные сердца, память о нём соблазняет “малых сих”. Вот что говорится в заметке “Маяк из будущего”, помещённой в народном издании “Красноярская газета” от 6.12.2019. № 77–78 (2656) на странице 6: “Уже много лет с нами нет

В. В. Маяковского — “агитатора, горлана, главаря”, но его поэзия живёт в сердцах потомков и так же будит в них романтические чувства и ведёт за собой на борьбу со злом, косностью, рутинной.

Она сегодня — чистый глоток свежего воздуха.

И действительно, стих Маяковского, “трудом громаду лет прорвав, явился нам весомо, грубо, зримо”: на днях в Литературном театре Литературного музея им. В. П. Астафьева (художественный руководитель, член правления КРО “Русский Лад” В. Н. Наговицын) прошёл спектакль “Маяк из будущего”.

Артисты Наталья Сафронова, Римма Чучилина, Валерия Шпагина, Михаил Титов, Елена Минина, Лариса Гайтанова прекрасно читали стихи поэта.

Звучали до боли знакомые и любимые ещё со школьных лет “Стихи о советском паспорте”, “Товарищу Нетте, пароходу и человеку”, “Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским...”, “Сергею Есенину”. Шквалом аплодисментов награждали зрители чтецов этих стихов<sup>40</sup>.

А мы будем помнить о том, что поэт, обратившийся к нам: “Слушайте, // товарищи потомки, // агитатора, // горлана-главаря...”, жизнью своей продемонстрировал откровенный цинизм, двуличие и презрение по отношению к тем, кого агитировал. И верить в то, что Господь воздаст каждому по делам его.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). Париж, 1930. № 11. Май. С. 39.
- <sup>2</sup> Бухарин Н. Этюды. М.: Книга, 1988. Репринтное воспроизведение издания 1932 года. Москва-Ленинград: Техничко-теоретическое издательство, 1932. С. 192, 195.
- <sup>3</sup> Бухарин Н. И. Цит. изд. С. 198.
- <sup>4</sup> Троцкий Л. Д. Литература и революция. Печатается по изд. 1923 года. М.: Политиздат, 1991. С. 118.
- <sup>5</sup> Троцкий Л. Д. Цит. изд. С. 119.
- <sup>6</sup> Троцкий Л. Д. Цит. изд. С. 120.
- <sup>7</sup> Бурлюк Д. На смерть Владимира Владимировича Маяковского. В кн.: В. В. Маяковский: pro et contra, антология. Т. 2. СПб: РХГА, 2013. С. 462.
- <sup>8</sup> Кольцов М. Что случилось? Там же. С. 474.
- <sup>9</sup> Кольцов М. Что случилось? Там же.
- <sup>10</sup> Агранов Я., Асеев Н., Беспалов И. и др. Памяти друга. Там же. С. 459.
- <sup>11</sup> Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917-1953 годы. С. 272.
- <sup>12</sup> Владимир Маяковский. // “Правда” № 344 (6580) от 5 декабря 1935. — С. 4. В том же номере газеты сообщалось и о решении Моссовета переименовать Гендриков переулок, в котором жил пропагандист-горлопан, в переулок Маяковского. Таково его название, увы, и днесь.
- <sup>13</sup> Власть и художественная интеллигенция. Цит. изд. С. 421.
- <sup>14</sup> Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). Цит. изд. С. 40.
- <sup>15</sup> Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). Там же.
- <sup>16</sup> См.: Троцкий Л. Д. Портреты революционеров. М.: Московский рабочий, 1991; Иоффе Н. А. Время назад: Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха. М.: ТОО “Биологические науки”, 1992. С. 76.
- <sup>17</sup> Бунин И. А. Окаянные дни. // Полное собрание сочинений в XIII томах. Том 6. М.: Воскресенье, 2006. С. 323.
- <sup>18</sup> Свиридов Г. В. Музыка как судьба. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 184.
- <sup>19</sup> Агранов Я., Асеев Н., Беспалов И. и др. Цит. изд. С. 458.
- <sup>20</sup> Полонский В. Дневник 1931 года. Там же. С. 584.
- <sup>21</sup> Чуковский К. Ахматова и Маяковский. // Чуковский К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 8. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2004. С. 527.
- <sup>22</sup> Троцкий Л. Д. Литература и революция. Цит. изд. С. 119.
- <sup>23</sup> Троцкий Л. Д. Там же. С. 117.
- <sup>24</sup> Ленин о Маяковском. В кн.: Литературное наследство. Том шестьдесят пятый. М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. С. 210.

- <sup>25</sup> Троцкий Л. Д. Литература и революция. Цит. изд. С. 105.
- <sup>26</sup> Троцкий Л. Д. Литература и революция. Цит. изд. С. 107.
- <sup>27</sup> Троцкий Л. Д. Литература и революция. Цит. изд. С. 117.
- <sup>28</sup> Осенев А. (С. А. Родов). Маяковский. – Владимир Ильич Ленин. В кн.: В. В. Маяковский: pro et contra, антология. Цит. изд. С. 133.
- <sup>29</sup> Маяковский В. В. Полное собрание сочинений. Том тринадцатый. Письма и другие материалы. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. С. 145.
- <sup>30</sup> Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского. Мюнхен: Издательство “Страна и мир” [Verlag Strana i Mir (Das Land und die Welt å. V.), München], 1985. С. 11.
- <sup>31</sup> Карабчиевский Ю. Там же. С. 12.
- <sup>32</sup> Свиридов Г. В. Музыка как судьба. Цит. изд. С. 292.
- <sup>33</sup> В ЦК ВКП(б) тов. Сталину и Молотову. (Письмо) Копия тов. Стеценко. // Правда. № 204 (25556 ). 22.07.1988. С. 4.
- <sup>34</sup> Чуковский К. И. Дневник 1922–1935. Цит. изд. С. 550.
- <sup>35</sup> РЖСК(Т) – Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество (РЖСКТ) “Крестьянская газета” имени Л. Б. Красина (*холодного убийцы, террориста и циника*. – **Б. К.**). После заселения получил название “Дом писателей” или “Дом писательского кооператива”.
- <sup>36</sup> Литературная газета № 15 (52). 14 апреля 1930. С. 4.
- <sup>37</sup> Известия № 77 (1814) от 7.04.1923. С. 1.
- <sup>38</sup> Литературная газета № 16 (53). 21 апреля 1930. С. 2.
- <sup>39</sup> Там же.
- <sup>40</sup> Маяк из будущего // Красноярская газета № 77-78 (2656) 6.12.2019.